

«Шекспиром». И вообще, если байроновский упрек в обожествлении Шекспира мог быть в какой-то мере отнесен даже к Гёте, Пушкина упрекнуть в этом было никак нельзя.

Говоря о периоде своего «безумного» увлечения Байроном, Пушкин романтически возводил его в некоего «пламенного демона». Во время своего увлеченнейшего чтения-изучения Шекспира поэт воспринимал его в качестве величайшего художественного гения, но все же лишь человека (вспомним в письме Раевскому: «*quel homme que ce Schakespeare*»). И «располагая» свою трагедию «по системе Отца нашего Шекспира» (XI, 69), он одновременно черпал образцы для нее и из других литературных источников. Так, к опыту обрисовки характеров Шекспиром он добавлял и продолжившего этот опыт «второго Шекспира», каким воспринимал его Белинский, — Вальтера Скотта, романы которого сыграли для автора «Бориса», свою роль и в мастерстве широчайшего разворота картины изображаемой исторической действительности и, как уже было сказано, в развитии пушкинского исторического мышления вообще. Помимо того Пушкин, как он указывал Раевскому, использовал опыт исторической драматургии Гёте, которому особенно удалось изображение «нравов» («Шекспир понял страсти, Гёте — нравы... я попытался соединить и то и другое») — XIII, 406, 408, 572, 574). Мало того, поэт и к самому Шекспиру сумел отнестись с поистине шекспировской широтой, прямо заканчивая свое положение о том, что цель истинной трагедии — изображение человека и народа, словами: «Вот почему Расин велик, несмотря на узкую форму своей трагедии. Вот почему Шекспир велик, несмотря на неравенство, небрежность и уродливость отделки» (XI, 419).

Слова об «уродливости отделки» пьес Шекспира были сказаны Пушкиным позднее,¹⁹ но это несомненно ощущалось им уже в период работы над своей трагедией, в которой он — несравненный художник слова — сумел, отбрасывая «невыгодные», слить «выгодные» стороны обеих систем — шекспировскую правду жизни и широту ее изображения с изумительной (и не только в отдельных сценах и деталях), подлинно классической красотой «отделки» — продуманностью плана, почти геометрической стройностью и законченностью в себе композиции, «полными смысла, точности и гармонии стихами», что сам Пушкин так всегда ценил в Расине (XIII, 86), не менее, в своем роде, высокой простотой ее частей, написанных прозой, в которых уже ощутил последующий Пушкин, не только гениальный поэт, но и гениальный прозаик. Именно как величайший эталон искусства, воспринял ее еще при жизни Пушкина, один из «малого числа людей избранных», Гоголь: «Определил ли, понял ли кто „Бориса Годунова“, это высокое, глубокое произведение, заключенное во внутренней неприступной поэзии, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа?»²⁰.

Из сказанного мы могли наглядно убедиться, что «шекспиризм» Пушкина, как и вообще все то, что он сам скромно называл своими «подражаниями», был отнюдь не безотчетным следованием одному из самых главных предметов его «удивлений и восторгов», а носил выборочно критический, активно творческий характер. Этим определяются и его сущность, и его границы.

Гёте, которого по его словам «ужасало», как «бесконечно богат и велик» гений Шекспира, заметил однажды Эккерману: «Он слишком богат и слишком могуч. Человек, продуктивный по натуре, должен читать в год не больше одной его вещи; иначе это приведет его к гибели. Я хорошо поступил, что отделился от него „Гецом фон Берлихингеном“ и „Эгмонтом“, и Байрон очень хорошо сделал, что относился к нему без особенного реш-

¹⁹ Кстати, высоко ценя, хотя и чуждое в основном Пушкину по своей природе, дарование автора «Эрнани» (XIV, 93), Пушкин характерно применял и к его драматургии аналогичный эпитет («уродливые драмы», XII, 141).

²⁰ Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, 1952, т. VIII, с. 54.